

Герман Власов

САМОЛЕТ НАД МОСКВОЙ

•

Как были правильными, были  
детьми, как брюки гладили,  
как буквы вместе выводили,  
и на окно залазили;  
какою яркой была зависть,  
на раз-два-три понятною,  
как аккуратно прикасались,  
до лба, горели пятнами;  
как старые ботинки жали,  
как плыл вагон с линкрустами,  
домой от школы провожали,  
признанья были устными,  
а письменными — реже, ибо,  
не зная даже дольника,  
горел октябрь прохладной глыбой,  
смущая мысли школьника.

•

Несу — не растерять бы в памяти  
(подмышкою сжимаю альт) —  
деревья старые и каменный  
дом, в узких трещинах асфальт,  
вчерашнюю картину быта и  
подъезд без лифта, взгляд в пролет,  
балкон и жигули немытые,  
и над Москвою самолет.  
Облиты тополиным семенем

пустая улица, июнь —  
 как бы в янтарь вместились времени,  
 когда доверчив был и юн.  
 Луч направляю и на простыни  
 со слайдов резкость навожу.  
 Вот здесь дружили мы подростками:  
 ты куришь, я пломбир лижу;  
 потом в кино на фильму взрослую,  
 где на момент оголена  
 актрисы грудь, а рядом розовый  
 актер от грима и вина.  
 А после от Орбиты зрительной  
 дворами на знакомый двор,  
 и в арке кодой примирительной  
 о Сириусе разговор.  
 Ночь летняя, пора нешкольная,  
 пух тополя — в одном глотке.  
 И рифмы глупые, глагольные,  
 и Кроны вкус на языке.



Движенье прищепкой, распята в окне простыня.  
 В одном измеренье качается ветром она.  
 Воскресным, погожим румяного августа днем  
 качается, как метроном.  
 Как наново лист, приглашая нырнуть в молоко,  
 где варится смысл и слова превращаются в пенку.  
 И где проявляется фото: ребенок легко  
 стоит опершись за коленку  
 отца. И отец погруженный в пейзаж  
 воскресного чтения: едет по полю телега;  
 а, может быть, судно какое на абордаж  
 пираты берут или сон про Олега.  
 Допустим, Олег, его щит... Но очнулась Ордынка.  
 Страница уже не страница — слюда  
 и мысль, как щенка с поводком, рвут обратно туда,  
 где в щепках белеет простынка.

●

Очистить горло, просвистать  
на утренней заре.  
Я целый день не мог писать.  
Я вспомнил: в январе  
морозец мял, пар изо рта  
невнятный выходил.  
Пальто и снега скрипота,  
как этот снег любил.  
Вот этот иней, теплый дом,  
где мама и отец,  
и блюдце — улица вверх дном,  
троллейбус, наконец,  
Тридцать четвертый ледяной  
от Киевской, где парк.  
Как ехал вечером домой  
и выдыхали пар...  
Будь другом — дай переписать  
тот зябкий день на дню,  
троллейбус, нотную тетрадь,  
где я тебя люблю.

●

Есть двойное наружу,  
а что там — уже не скажу.  
Я жестоко простужен  
и в свитере синем лежу.  
Что там с солнцем и ветром,  
какое кружение в нем  
есть движение веток  
неправильный стук, метроном.  
Как вагонная дверца,  
на станции бросив стучать,  
неумно как сердце

решившее вдруг помолчать;  
осмотреться, послушать,  
и вычислить шум остальной, —  
чтобы в душу и в уши  
вкатиться горячей волной.  
Но, когда замирает  
пылинок, подсвечена, взвесь, —  
на кровати и с краю,  
в окне и на улице весь  
я вишу, словно дождик,  
бесшумный, сплошной, в шесть часов —  
сумасшедший художник  
с палитрой живых голосов.



Листьями сухими пошуршать,  
с книгами живыми попрощаться,  
бойкой молодежи не мешать,  
в суету умом не помещаться.  
Как один упорный сомелье  
тексты оцифровывал охапкой.  
Бабье лето, парки на скамье  
вяжут для зимы носки и шапки.  
Вот такой изученный лубок,  
быта невеселая картинка.  
Но упал и катится клубок,  
и летит на синем паутинка.  
Что еще? Слова уносит пар  
и щенок сырую землю роет.  
Помнишь, про созвездие Стожар  
говорили, а еще про Троию.  
Ну, так вот: Стожар и Трои нет,  
разве клен, как светофор, пылает.  
До Стожар не продают билет,  
в цифру Троя перешла былая.



Любуюсь на осени сквозь лобовое  
прохладу и жар,  
когда, как из душа, то льет ледяное,  
то вспыхнет пожар  
охристых и бурых  
и солнечным счастьем  
легка голова.  
Одна паутинка связать эти части  
способна в слова,  
умеет лететь над поселком остывшим,  
грядую лесов,  
над будущим, настоящим и бывшим —  
прилечь на песок.